

— Зачем тебе в школу, Джон? Посиди дома, завтра пойдешь. Я тебе справку выпишу. Скажем учительнице, что ты заболел.

Как ни странно, увещевания подействовали. Пророботав что-то обиженно-невнятное, больной еще пару раз дернул наручники и устало опустил голову на подушку. Через три минуты он уже спал.

— Ну что? — оскалился Энтони. — Как тебе мой пациент?

— Делириум тременс, страшное дело.

— Ошибаешься, босс. Он бросил пить полгода назад. Это — энцефалопатия. У него печень отказала, а заодно и все остальные органы. Когда он к нам поступил, хирурги думали делать анастомоз, но теперь об этом, конечно, речь не идет. Если его положить на операцию, он на операционном столе и умрет. А без операции умрет тем более. Шах, мат. Я уже говорил с его сестрой — она у них принимает все решения. Согласилась на хоспис. Но он, я боюсь, и до хосписа-то не дотянет.

— А что собой представляет сестра?

— Сестра у него хорошая. И брат хороший, Брайан. Они его каждый день навещают. Надо будет завтра пораньше прийти, чтобы их застать. Брайан живет в Колорадо, неделю назад прилетел. Жалко их очень.

В паллиативном отделении, куда Макпаддена вскоре перевели из реанимации, уход за пациентом вели в основном медсестры. Чтобы периодически менять капельницу с морфием в ожидании смерти, врачи не нужны. Каждый вечер мы с Энтони заходили к нему на пять минут по пути на дежурство. Джекки Макпадден, дежурившая у постели брата денно и ночью, давала нам подробные отчеты.

— Мне кажется, ему становится лучше. Еще вчера он нас с Брайаном не узнавал, а сегодня утром говорит: «Завещаю вам свое богатство в размере недопитого „Джонни Уокера“». Сказал, что нас любит, что мы — единственное, что у него есть. — Джекки вытерла слезы. — И еще сказал, что проголодался. Жаль, что ему нельзя.

— Чего нельзя?

— Есть...

— Разве его здесь не кормят?

— Медсестра сказала, что врачи запретили давать ему пищу. Она говорила про какой-то больничный протокол, я толком не поняла.

— Какой протокол? Энтони, ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное?

Но Энтони уже не слушал. Пробормотав что-то вроде «Я сейчас», он зашагал по направлению к медсестринской. В этот момент его лицо походило на догонскую маску разъяренного духа, и молоденькая медсестра шагнула в сторону.

— Это вы ведете уход за пациентом Макпадденом из сорок седьмой палаты?

— Да, доктор... Что-нибудь случилось?

— Будьте любезны, принесите ему еды. Прямо сейчас.

— Извините, доктор, но это не ваш пациент, — уверенно возразила медсестра, оправившись от моментального испуга. — Завотделением, доктор Рустам Али, дал нам четкие указания. Мы имеем право давать больному только обезболивающее, а больше ничего. Это ведь пациент хосписа.

— «Хоспис» не означает морить человека голодом.

— Доктор Али дал нам четкие указания.

— Дай ему поесть, дура.

Десять минут спустя медсестра вернулась в сопровождении щуплого человечка, передвигавшегося чарли-чаплинскими шажками, как будто его ступни поссорились и демонстративно отворачиваются друг от друга.

— В чем дело? — сурово спросил человечек.

— Хотелось бы узнать, почему больному, который просит есть, отказывают в пище.

— Наша медсестра вам уже все объяснила. Мы оказываем паллиативную помощь, то есть снимаем боль. Питание может продлить выживаемость, а это в данном случае не является нашей задачей.

— Вы это всерьез? — поинтересовался Энтони. Его воображение, кажется, уже шарило в мысленном бардачке в поисках смит-вессона.

Али поджал подбородок, придавая лицу скорбное выражение.

— Да ты пойми, Энтони, — заговорил он задумчивым тоном, — я такой же идеалист, как и ты. Но это безнадежный больной, он должен был скончаться еще в реанимации. Как бы мы ни старались, мы для него ничего не сможем сделать, ты сам это прекрасно знаешь.

— Как скажете. Завтра мы представим этот случай перед административной комиссией.

— Послушай, Онিকেпе, тебе не надоело строить из себя мать Терезу? У нас благотворительный госпиталь с весьма ограниченным бюджетом. Мы и так тратим на этих людей больше, чем можем себе позволить... Ты всё сводишь какие-то личные счеты, а мне это неинтересно. Мой тебе совет: не раскачивай лодку. Вылетишь из ординатуры, вот и все.

Через три дня Макпаддена не стало. Благотворительный фонд Сент-Винсента помог семье усопшего с оплатой похоронных расходов.

3.

С появлением Наны наша рутина изменилась: теперь мы каждый вечер гостили у нее в медсестринской. Энтони приходил в гости с овсяным печеньем, а я — с учебником ашанти-чви. В перерывах между вызовами я усердно осваивал диалоги и элементарную грамматику. Нана экзаменовала и поправляла произношение. Энтони сидел на полу, увлеченно печатая что-то на своем ноутбуке. Временами он прерывался, чтобы позлорадствовать: «Ну что, полиглот, не дается тебе их ганский язык? Надо было учить йоруба». С ганским языком у меня и впрямь было туго, особенно с произношением: мой речевой аппарат наотрез отказывался артикулировать все эти носовые

и огубленные звуки. Кроме того, чви, как и многие африканские языки, — это язык тональный, и тут меня подводило ухо, по которому прошелся медвежий выводок. Будучи произнесенными с неправильной интонацией, мои слова приобретали самый неожиданный смысл. Например, я хотел сказать «хорошо», но, перепутав высокий тон с низким, говорил «вентилятор».

— *Вентилятор?* — переспрашивала Нана. — Ты хочешь сказать, что тебе жарко?

— Да нет, не «пáпá», а «пáпа» — *хорошо, хороший...*

— Что? *Папа?* Чей папа? Доктор, я вас не понимаю.

— Квэйду вура, тэ со!¹ — отвечал я единственной фразой из разговорника, которая получалась у меня без промашки.

Пожилой африканец в цветистой полотняной рубаше прохаживается по приемной и с видом посетителя музея разглядывает настенные памятки и дипломы.

— *Доброе утро, доктор, как самочувствие?*

— *Хорошо, спасибо. Как ваше?*

— *Откуда мне знать? Вы доктор, вы и скажите, как я себя чувствую. — Он подходит к окну. — Пусто на улице, как будто вождь умер.*

— *Что-что?*

— *Поговорка такая. У нас в Гане в прежние времена, когда вождь умирал, полагалось отрубить семь человеческих голов и похоронить их вместе с ним. Кто пожертвует головой ради вождя? Тот, кто еще ни о чем не знает. Выйдет человек на улицу, тут его стража и хватает. Кто поумнее, сразу сообразит: если не хочешь отправиться в Город мертвых вместе с вождем, в день похорон сиди дома. Сейчас то все изменилось, вместо голов деревянные маски кладут. Но поговорка осталась. В следующий раз услышишь, будешь знать, о чем речь.*

Я поглядываю на часы.

— *Госпиталь Сент-Винсент... — задумчиво произносит ганец. — Католический. И дипломов-то сколько, почетных грамот! Чуть ли не на каждой стенке.*

¹ Продащица бананов, сбрось цену!

— Вас что-то не устраивает?

— Да вы не обращайтесь на меня внимания. Я просто старый солдат, а солдаты, как известно, большим умом не отличаются.

У меня звонит пейджер, и я отвлекаюсь.

— Что-то доктор совсем потерял ко мне интерес, — обращается он к невидимому свидетелю. — Может, я для него недостаточно болен?

— Простите, что отвлекся.

— Прощаю. Но не понимаю. Вот я вчера пришел в вашу поликлинику, потому что у меня болел живот. А сегодня мне говорят, что у меня диабет.

— Это действительно так, мистер Смит. Я просмотрел результаты ваших анализов.

— Вот как? Беда-то какая... Я ведь, знаете, в вашем городе проездом. Заехал навестить кое-кого из знакомых. Завтра уезжаю.

— А где вы живете? В Гане?

— Где только не живу.

— Хорошо, я выпишу вам рецепт на глюкофаж. А когда вернетесь домой, обязательно обратитесь к диabetологу.

— Непременно, доктор. Я вижу, вы — настоящий знаток своего дела. И госпиталь ваш мне понравился. Кстати, передайте от меня привет Нане Нкетсии. Знаете такую? Она у вас тут, кажется, прачкой работает.

— Не прачкой, а медсестрой. Передам.

...

— Слушай, Нана, мне тут один пациент попался. Из Ганы. В регистратуре он записался как Джон Смит, но что-то непохоже. Отрекомендовался «старым солдатом». Очень странный тип.

— Ну и что?

— Как — что? Ты разве его не знаешь? Он просил передать тебе привет.

— Вот ты и передал.

— Не томи, квэйдунура.

— Это мой дядя, полковник Нкетсия. Он приехал навестить каких-то своих знакомых, а заодно и обо мне разузнать. По поручению отца, не иначе.

— А почему под чужим именем? Он что, от кого-то скрывается?

— Да нет, просто придумывается. Пытается убедить себя, что он все еще важная персона.

Нана Эфуа Аба Анна Нкетсия родилась и выросла в богатой части Аккры, в доме, который, судя по фотографиям, правильнее было бы назвать дворцом. Ее дед по материнской линии, Буду-Артур Нана Кобина IV, был верховным вождем племени фантсе и одним из подвижников африканского борца за независимость Кваме Нкрумы. Когда Нкрума был избран первым президентом свободной Ганы, дед занял пост ректора Лагонского университета, продолжая при этом исполнять обязанности оманхене¹. Главным образом обязанности заключались в том, что во время торжественных церемоний его наряжали в королевское платье и проносили на паланкине через ликующую толпу. Эти церемонии — шествие масок, клич говорящих барабанов, жертвенные обряды — Нана описывала так же трепетно, как Энтони — свои гангстерские подвиги. С каждым разом ее воспоминания становились все более красочными; трудно сказать, что в них было придумано, а что нет. Как гласит присловье ашанти, «когда жрец пускается в пляс, всё, что он говорит, — чистая правда».

Отец Наны владел крупной компанией, импортирующей лекарства, а также сетью аптек, разбросанных по всему Центральному региону. Он был ганцем только наполовину: бабка, в честь которой назвали Нану, была уроженкой Канарских островов. В свое время брат отца, полковник Нкетсия, был влиятельным политиком и лидирующим кандидатом на пост президента. После военного переворота Джерри Ролингса в 1979 году Нкетсия бежал в Англию, где ему удалось получить политическое убежище. В Англии он занялся фотографией и несколько раз выставлялся в одной из лондонских галерей.

¹ Вождь народов.

Я все время ловлю себя на том, что «притягиваю за уши» общность детских воспоминаний. Сталкиваясь в Америке с людьми из самых отдаленных точек мира, я старательно высматриваю в их рассказах некий исходный опыт, который роднил бы китайца или индуса с выходцем из России. Наверное, это и есть менталитет эмигранта, сколько бы я ни убеждал себя, что я — не эмигрант. В школьных рассказах Наны искомым узнаний было сколько угодно. Тут не приходилось ничего додумывать. Все было знакомо и в то же время утрировано до пародийности. После того как Ролингс провел государственную реформу образования, из школьной программы в Гане полностью исключили все пережитки колониального периода — в первую очередь европейскую историю и литературу. Химию, физику и биологию сократили до одного предмета под названием «точные науки». Зато ввели историю африканского освобождения, а также основы сельского хозяйства и скотоводства. Школьники учились отличать по цвету и запаху десять видов почвы; узнавали о выведении новых пород домашнего скота, об усовершенствованных технологиях дойки. Проводились соревнования классов по выращиванию помидоров. Следующим шел предмет «жизненные науки», на котором учили класть кирпичи и работать с мачете. В шестом классе девочки шили фартуки, а в седьмом — готовили в этих фартуках традиционные похлебки, которые уписывал весь преподавательский состав. Летом учащихся посылали на практику — выкапывать ямс. И т. д. и т. п. Все знакомо, от линеек и доски почета до байки о том, как на рождественских каникулах учитель истории повел старшекласников в поход, где напился пальмового вина, после чего его искали всю ночь и нашли к утру мирно спящим в чьем-то огороде. Чем больше я слушал, тем труднее мне было представить себе это африканское детство, где королевские церемонии и украшенный золотом паланкин сочетались с уборкой картошки и пионерскими песнями у костра.

Правда, песен под гитару как таковых в рассказах Наны все-таки не было. Вместо них фигурировали пионерские пляски под барабан.

Когда дочери исполнилось четырнадцать лет, родители, слабо верившие в преимущества новой системы образования, решили последовать примеру самого Ролинга: перед тем как учредить реформу, глава правительства предусмотрительно отправил собственных детей учиться за рубеж. Ближайшим родственником Нкетсии за границей был осевший в Лондоне брат отца, но обращаться к нему представлялось опасным. Бывший полковник, хоть и переквалифицировался в фотографы, продолжал оставаться политической *persona non grata*. Словом, Нану отправили в штат Вирджиния, где жила тетушка Майя, она же — афроамериканская писательница Майя Анджелу, вторая жена покойного деда Кобина IV. В Вирджинии Нану отдали в дорогую частную школу, где она оказалась единственной чернокожей. «Можешь себе представить, как мне там было уютно». Впрочем, в среде афроамериканцев, с которой она столкнулась позже, *African princess* встретила не больше понимания, чем среди белых южан.

После окончания школы Нана поступила в Пенсильванский университет, где без энтузиазма училась то на психолога, то на экономиста. И вот в один прекрасный день на нее снизошло озарение, вызванное газетным объявлением. Агентство такое-то предлагает медсестринские курсы и нанимает на работу в должности «странствующей медсестры». Есть, оказывается, и такая профессия. От обычной медсестры это отличается условиями контракта и тем, что в роли первичного работодателя выступает не больница, а частное агентство по трудоустройству. Агентство занимается поиском временных вакансий. Подписывая долгосрочный контракт, ты соглашаешься ежегодно менять место работы и жительства. Конкретные условия зависят от места, но в основном это работа в реанимации в ночную смену. «Я не очень люблю

общаться с людьми, — говорила Нана, — а ночью в реанимации никого нет, только пациенты, да и те, как правило, заинтубированы. И в то же время я делаю доброе дело, приношу пользу». «Вот-вот, я же говорил тебе, что она — мизантроп», — невпопад вставлял Энтони.

Узнав о столь нетрадиционном выборе профессии, отец Наны приехал в Америку наставить дочь на путь истинный («В мире белых людей наши дети должны становиться врачами либо адвокатами»). Но не тут-то было. Две недели семейной драмы не сломили дух новоиспеченной *traveling nurse*. Вернувшись в Гану, отец объявил, что лишает Нану наследства. С тех пор они не общались.

Мне хочется раз за разом погружаться в незнакомую среду, пребывать в растерянности, испытывать дискомфорт, связанный с невозможностью объясниться на чужом языке. Попадая в новое пространство, я не хочу ощущать себя ни туристом-лириком, ни путешественником-первопроходцем. Я хочу повторить мучительный опыт двадцатилетней давности — заново пройти через эмиграцию, начать с пустоты. Диагнозы, которые я готов сам себе поставить, лежат на поверхности: изживание детской памяти, необходимость мнимого контроля над прошлым. Но ведь дело не только в этом.

Одно из последних предотъездных воспоминаний: Юра Дворкин с первого этажа, усердно косящий под советского рокера, отрицающий патлы, обзаводящийся телогой и ватренными джинсами. На плече — кассетник с Наутилусами и «Группой крови». Через два месяца он переедет в Хайфу (фотографии с шаурмой и кальяном, первая работа на бензоколонке, израильская армия и т. д.).

Это была зима девяностого года; Юре было тогда тринадцать или четырнадцать. Я — на два года младше, смотрел снизу вверх. Запомнилось как нечто необъяснимое: его предстоящий отъезд и пубертатное желание наспех совпасть с последней модой московского двора, подготовиться к новой фазе жизни, которая начнется и закончится здесь без него.